



Марианна
Понова
ЮБЕЦАЛЬ



INSPIRIA

Москва
2022

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
И75

Художественное оформление серии
Константина Гусарева

Ионова, Марианна Борисовна.

И75 Рюбецаль / Марианна Ионова. — Москва : Эксмо, 2022. — 480 с.

ISBN 978-5-04-155010-3

Рюбецаль — древнегерманский дух гор, который может помочь заблудившемуся путнику, если тот ему понравился. А может и привести его к гибели.

Роман Марианны Ионовой вместил форму эпоса в форму трилогии. Ионова подобрала истории о связанности человека и недр Земли. Эта связанность в каждой судьбе работает по-своему. Повесть, давшая название всей книге, пожалуй, ярче всего показывает, как геология может быть не только профессией, но и мистическим предназначением...

Инго Хубер с детства коллекционировал минералы. И спустя годы, во время Второй мировой войны, пройдя через американский плен и лагерные рудники в Сибири, стал Игорем Ивановичем. Женатым на русской, удочерившим русскую девочку, которая стала ему роднее родного сына, оставленного в Германии. Продолжая верно служить науке, он тосковал по непрожитой жизни... и был ли он действительно Инго Хубером или и тут кроется тайна чужой личности? Куда завел его Рюбецаль?

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-155010-3 © Ионова М., текст, 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

ИОНОВА МАРИАННА БОРИСОВНА – прозаик, критик. Родилась и живет в Москве. Окончила филологический факультет Университета Российской академии образования и факультет истории искусства РГГУ. Как критик печаталась в литературных журналах, автор книг прозы «Мэрилин» (М., 2013), «Мы отрываемся от земли» (М., 2017). Лауреат независимой литературной премии «Дебют» в номинации «эссеистика» (2011).

ЖИЗНЬ РУДОКОПА

Повесть

Но вот в обеих, в земле, а также и в плоти твоей, сокрыт свет ясного божества, и он пробивается насквозь и рождает им тело по роду каждого тела: человеку по его телу и земле по ее телу; ибо какова мать, таким бывает и дитя. Дитя человека есть душа, которая рождается из плоти из звездного рождения; а дети земли суть трава, зелень, деревья, серебро, золото, всякие руды.

Якоб Бёме.

«Аврора, или Утренняя заря в восхождении»¹

К тем играм в Альпах наш азарт не стих. Мы и сейчас, мой друг, играем в них. Когда бледнеет в прошлом дивный свет. Наш путь лежит наверх за ним вослед.

К. Ф. Майер²

¹ Перевод А. Петровского.

² Перевод М. Ребристого.

Начало этой истории лежит в солнечном ноябре позапрошлого года.

Оно опирается на небывало чистую для позднего времени твердь, и небесную, и земную. На ясное небо и неяркий, однако, свет, равно и на черные, печатные, как в апреле, стволы деревьев, золотисто-голубоватую взвесь за ними, гладь асфальта, металлически-матовое сияние которого напоминало о водной глади, на распыленную даль — на все, отсылающее к весне.

Тем, что это подобие на поверхности переместилось со мной, когда я спустилась под землю, где отличия времен года только усугубляются в одежде людей, объясняется факт, ставший завязкой истории, а именно свежее пристальное внимание, оживляющее и того, кого оно избирает, и того, от кого исходит.

Я не стыжусь признать, что мой взгляд в поезде метро был весеннего происхождения. Взгляд снизу вверх от меня сидящей на стоящего надо мной мужчину. Он держался левой рукой за горизонтальный поручень, а в правой был раскрытый журнал, достаточно низко опущенный, чтобы мне видеть лицо.

Впрочем, можно ли приписать то, что я стала всматриваться в этого человека, лишь неурочной весне?

Он выделялся. Ростом — очень высоким. Длиннополом черным пальто из толстого сукна, какие не носят с 90-х. Родимым пятном, не столько темным, сколько крупным, вверху левой щеки, под глазом. Наконец, уже для меня лично, его выделяло и, возможно (оправдываю я себя), прежде всего мой взгляд притянуло серебряное кольцо с молитвой на безымянном пальце держащей журнал руки — в точности как у меня.

А помимо: волосы, прямые, тускло-золотистые, обрамляющие лицо, скорее широкое, и прикрывающие уши, чуть закручиваясь концами наружу. Прическа эта, слишком женственная для роста, тяжелого пальто, кондового кожаного портфеля, прислоненного к ноге; для напряженности переносицы и рта, уверенно отнесенной мною насчет личностного субстрата отличной от преходящей естественной сосредоточенности тем, что чтение не вызывает ее, а выявляет, — эта прическа отвечала и всему мутно-гнетуще-тревожно-архаично-основательному, как «рыцарская», сиречь «романтическая». (Не забыть и журнал, узурпировавший место айфона и наверняка разделивший его обязанности на пару с мобильником — ровесником слова «мобильник».) Да, по убедительному, пусть и малодостоверному свидетельству давно листанных книжек с картинками, прапрадед Шумана, пес на Чудском озере или благообразный любовник Ундины, повторился в праправнуке предпочтением именно такой длины. Кристально-бледная голубизна вокруг точечных зрачков, из-за чего глаза первоначально казались большими и даже навывкате, хотя

Жизнь рудокопа

были немногим больше среднестатистических, золотистый оттенок на прямых, чуть сально лоснящихся волосах и скуластость, и этот редкий изъян, почти равнодо стойный шраму, и говорящее кольцо, для слишком многих соблазн и безумие, составляли что-то, внутри чего оспаривали друг друга вызывающе-капризное и упрямо-угрюмое, дерзкое и беззащитное, неустойчивое в себе и монолитное, мужское и женское.

Я пыталась вообразить школьные годы мальчика, затем юноши с родимым пятном. Дразнили ли его, скажем, *Горбу!* Тогда уж посконнее и циничнее — Пегим, например. Отваживала ли от него девушек эта метка или, наоборот, как любая метка, притягивала? Неужели он не сознает, что даже чуть отстающая от норматива стрижка привлекает празднично-беглое внимание к лицу, стало быть, и к пятну?.. Значит, собственный облик как целое ему недоступен, у него нет участливого зеркала других глаз. Ведь настолько не видит себя лишь тот, кого не видит никто бескорыстный, но не беспристрастный. Выполняет ли кольцо с молитвой на безымянном пальце обязанность обручального? Непроизвольность этих вопросов, так легко слагающихся, тоже удивляла меня, хотя и не смущала, более того — радовала, как будто извещала меня от меня же привычной.

Глядя на него, я читала журнал без обложки, которую отвернутые страницы прячут в себе. Неметафорический, бумажный журнал между тем я не могла читать вовсе: мне доставался слепой обрез, а то, что может быть понято, удаляющее всякую таинственность, слова,

кроме гравированных на кольце, находилось по ту сторону, по его сторону.

При подходе поезда к очередной станции он отпустил поручень, сложил журнал (мелькнувшую обложку я рассмотреть не успела), наклонился к портфелю и затем, с портфелем в руке, стал продвигаться на выход. Он встал у самых дверей и, когда те раздвинулись, шагнул первым. И в ту же секунду я поднялась и, почти прилепившись к спинам последних покидающих вагон, вышла на платформу.

Минутой ранее моя поездка еще оканчивалась через две станции, и мой день еще сулил то, что сулил и утром, но мужчина в поезде обнулil его, сбросил, как цифры прежнего счета перед новым таймом. Нет, это я обнулила мною же предрешенное, перерешила его, но только зачем? Пустившись вслед за человеком, который приведет меня в никуда, в приграничную зону между жизнями его и моей, где невозможно находиться, потому что не на чем стоять и нечем дышать, я пустилась в небывалую для себя авантюру, столь же бессмысленную, сколь и безопасную, то есть по бессмысленности и безопасную. Я понимала, что последую за ним до первой же отрезвляющей и отчуждающей меты чужого пространства и поверну назад, и на ходу уничижала и стыдила себя, но вот за что? За безрассудство преследования или за безрассудство саморазоблачения перед собой же? Или за недостаточное безрассудство, за отчаянность, тем более жалкую, что оно мне ничем не грозит, что оно — чужое, взято напрокат у собирательной

Жизнь рудокопа

романной героини и умещается в один абзац, вырванный из текста?

Стоя позади него на эскалаторе, я видела небольшую, кое-как зачесанную лысину. Черный массив пальто, особенно под светлым затылком с его ущербной золотистостью, казался вдвойне тяжелым.

И что было моей наживкой — моей для меня же? То есть какую цель я преследовала, преследуя? Но как ответить, не ответив прежде на вопрос о природе единственности, найденной мною в одном из сонма ежечасных пассажиров метро. Среди них встречались диковины, не то что представляющие — воплощающие бронебойный романтический нонконформизм почти маскаратно... Впрочем, в том-то и крылась их слабость — в не задорого приобретенной полноте выражения, в целесообразности, целенаправленности всех черточек и знаков изъятия себя из презренной злобы дня, в уютной гармонии фронды. Ведь романтическое (согласно Гегелю, по крайней мере мною перевернутому) нецелесообразно, части в нем не подчинены целому, тогда как целое покрывает, примиряя с собою, части. Незрячий до самого себя, мой пассажир не проектировал, не осмысливал своей непримиримости с модой, трендом, каноном — как ни определили, не стремился к ней, а потому не являл какого-либо из щедрой линейки типажей, будь то пользователь эксклюзивно-серийного сплина или владелец дизайнерской модели пассаизма. Все, чем он отрицал моду, тренд ли, канон, было единично и случайно, и сама

доведенность деталей в общее случайна. Однако скажи я, что он *был самим собой*, как тут же его замкнул бы жадный циркуль скороспелого и самозваного совершенства, на службе у страха остаться Витрувием без золотого сечения, зодчим без проекта, проектом без чертежа, пятном, постоянно теряющим и заново находящим свою кромку. Как теряло на миг его пятно, словно подразумеваемое с краю в зависимости от угла преломления света.

Ни одна составляющая его облика еще не говорила сама за себя. Все то, что я отнесла в нем к романтизму, но не округлила до романтизма, существовало не для его рефлексии, а лишь для моего стороннего взгляда. И именно потому не для любого стороннего взгляда как навязанное, указанное, а только для моего. Для моего, «под свою руку» изготовленного романтизма, с которым никто не мог быть сличен, и выдержать, потому что лекала не было. Вряд ли бы кто-либо другой увидел в случайном смешении — черноте и долготе расстегнутого, под собственным весом расходящегося полами пальто (ладно бы еще кожаного, так матерчатого, с поясом), почти в извращенно-смешном соседстве прически, которая могла бы подчеркнуть благородную нежность юноши, но не придать ее лысеющему мужчине за сорок, и родимого пятна — увидел бы дух. Дух, нелепостью своей формы и неясностью своей сути пугающий, и опять же только меня. А где дух, там и тайна. Тайна, которая мне поручила ее раскрыть, но сначала доделать, доглядеть ее и за нею.

Жизнь рудокопа

Улицу, где мы вышли, я не опознала, но передо мной тут же восстал скорее образ, чем план, и скорее гений, чем образ, района, в который лет восемь—десять назад меня часто приводила не надобность, а фланерство. Эта неожиданная встреча с тенью давнишней беззаботности была тем более кстати, что мое предприятие начинало меня пугать. Не исходом, мною купированным, обезвреженным, но который, однако, все оттягивался — хотя от меня бдительно не отставала строка вроде электронной, гласящая, что конец преследованию должен наступить чем раньше, тем лучше, и каждую условную между, только уловив издали, я намечала себе как знак повернуть обратно. Нет, меня пугал не марш на чужое, не то, что могло бы меня подстеречь, как партизанская засада, а, напротив, причина этого захватнического похода. Я сама. Меня пугала та я, которую показал мне не подготовленный даже смутным и скомканным решением рывок в сторону за мало что незнакомым — неизвестным мужчиной. Пугало звеняще-отрешенное хладнокровие, с которым я прикидывала, не безумна ли. И страх вдруг осыпался, обнаруживая под собой сухую скорбь о себе как об обреченном родственнике.

Коротким рабочим днем был ознаменован канун ноябрьских праздников, и я не сомневалась, что тот, за кем я иду, направляется, как и я, домой. Но впустило его светло-серое четырехэтажное здание в стиле функционализма, оттесненное от обочины небольшим мощным пустырем-стоянкой, с несколькими разномастными

табличками справа и слева от белых пластиковых дверей – деловой центр средней руки.

Все полтора километра от павильона метро я соблюдала не навлекающий подозрений отрыв и дала ему увеличиться, у дверей нарочно помедлив. Когда я вошла, до меня уже доносились шаги на лестнице слева за проходной. Я стояла перед турникетом, приручая неумолимую данность своего бесправия, но опомнилась прежде, чем ко мне обратился охранник. Очутившись снаружи, снова перед дверьми, я, по счастью, додумалась изучить таблички. Нотариальная контора, столовая (не иначе, как для своих), остальное – офисы фирм. Я списала названия, ни одно из которых не откликалось в памяти. Впервые я сожалела о том, что прежде от моего спартанского телефона ничего, кроме благ его телефонной природы, не требовала, а то до поисков в Интернете не пришлось бы терпеть. Дома, едва разувшись, я включила компьютер. Из-под плохо прилаженных, великоватых, с чужого плеча, англизированных имен выступали фирмы, производящие оборудование для стоматологических кабинетов, торгующие комплектами постельного белья, предлагающие туры в ОАЭ, кафельную плитку из Италии и грузоперевозки по России... В одни я деспотично его не «пускала», другие милостиво оставляла как вариант. Что-то, что взнуздывало досаду на необходимость довольствоваться гаданием, а затем и его изжить не солоно хлебавши, заточило и мою смекалку, и теперь ее лезвие играючи секло мантры удушливого пораженчества.

Жизнь рудокопа

Среди офисов был пункт выдачи заказов интернет-магазина. Вместо того, чтобы застолбить за собой первый же календарь со щенятами или набор фломастеров, я отсеивала товар за товаром. Вещь на роль предложения должна была, точно «звезда» в эпизоде, отдать свое лучшее целому, но как часть обогатить его, но смиренно, подстроившись и сообразовавшись. Я прочила эту вещь в сувениры, в память о незадачливой вылазке за пределы себя. Мою привередливость утолил неказистый и несуразный предмет — футляр для ключей, шматок искусственной кожи, словно забракованный при выкройке того портфеля.

Не прошло и десяти минут после того, как я, кликнув на «самовывоз», выбрала из адресов искомый, и мне позвонила девушка-оператор. Бог весть почему, но я опасалась мужского голоса в трубке, как опасалась узреть через стойку выдачи того, благодаря кому существовало светло-серое здание со всеми вобранными ужавшимися возможными мирами. Такая, не по возрасту и по стати, работа не его унижала, а меня обкрадывала — как если бы *deus ex machina* спустился на середине спектакля и к тому же повелел освободить помещение в связи с угрозой пожара.

Столковавшись о том, что пропуск мне будет заказан на первый рабочий день после праздников, я написала письмо своему начальству, испрашивая этот день в счет отпуска.

Мне предстоял карантин двоящихся, как в дурноте, выходных. Коротать их помогал вопрос, попадавший на

глаза то и дело и между делом, как мои руки. Чего я хочу от того, к которому добиваюсь? Не знакомства. На это я не посягала из чувства меры, а может, чести. Но, пусть не сближение, однако что-то мне нужно, без чего я не успокоюсь. Увидеть его еще раз? Закрепить ничего не держащий узелок, само же событие, к которому отсылает?

Я ежедневно навевалась в район, где ждало меня – но не раньше срока – светло-серое здание, и я избегала его так же честно и трепетно, как мыслей о единственном, кто вошел при мне в его двери.

Это был старый московский северо-восток, застроенный некогда в меру довоенной индустриальной деловитости, и плотно, и скупно, чтобы после войны не утеснившись вместить жилые кварталы, под рост медленно усыпляемым фабрикам, поновляемым больницам – четыре-пять этажей. Он словно не притязал быть чем-то более города вообще, до сих пор лишь кое-где меченный неразборчивым и ленивым находом девелопера, и официозно-хипстерское живописное бодрячество еще не покорило его пуританскую безвидность. Он донашивал грифельно-серую штукатурку, алый и палевый кирпич, хворостяные, постные в угоду ноябрю кроны рощ, прикрывающих жилые дома, как растительные ризы – прародителей. Он во всем был скромн и щедр, скромн на краски и объемы и щедр на простор, не терпящий пустоты. Я отражалась в нем лицом женщины без возраста и без макияжа, разве что больше тронутым усталостью, чем мое, но и несравнимо больше – кротостью. Кротостью от долгого молчания, а не от рождения.

Жизнь рудокопа

Это лицо обещало, не дожидаясь, пока я доведу узор своего желания. Не льстиво-беспечно, а справедливо и потому веско обещанием не убаюкивающим, но утишающим, не утешая. Что все исполнится и придет, хоть и много позже, и придет в исполненности отказа, потери и конца, предвестник которой — тишина, налетающая бурей.

По пути к светло-серому зданию я одергивала свою задиристую веселость, изобличавшую меня перед совестью, как нервный оскал, как несправедливая защита-нападение. Я едва ли не надеялась на крах, который мог быть засчитан как смягчающее вину обстоятельство и который был почти единственной вероятностью: откуда было мне знать график работы того, кого я собиралась подкараулить? Да и ничто не давало уверенности в том, что сюда на моих глазах его привела накатанная рутина, а не случай, как заказчика, покупателя, просителя.

Помня, что в прошлый раз оказалась у делового центра между четвертью и половиной пятого, я для перестраховки положила себе быть на месте не позднее четырех. Сорокаминутное стояние на посту — поблизости не было ни скамьи, ни пригодного бордюра — понемногу оглушило, и грубую эту корку конечной вечности не могли прокусить вьющиеся вокруг стыд и тревога. Тем чувствительнее впились жала, стоило показаться черному пальто и — выше смотреть я боялась — кожаному портфелю, в раскачке которого отзывалась ширина шага.

Я поспешила войти, предъявила вахтеру паспорт в обмен на пропуск и, толкнув перекладину, ринулась к лестнице, перед которой и замерла. Пропустив его на пару ступенек вперед, я осведомилась, правильно ли иду в пункт выдачи заказов.

— Правильно, — он обернулся сверху через плечо, — вам на третий этаж, налево по коридору, и там увидите. — Голос у него был не высокий и не низкий, мелодичный, чуть гулкий. Снова он предварял меня на подъеме, и я смотрела в его затылок с казавшимися еще светлей поверх проплешины волосами, на широкий пояс пальто, на расслабленную ладонь, перехватывавшую перила с той же ложной бездумностью, с какой я за ней наблюдала.

Он поднимался выше, на четвертый.

Я свернула в левый коридор даже слишком проворно. Пока девушка за стойкой выдачи, по голосу — мой же оператор, снимала с полки сверток, разрежала ножницами скотч и пупырчатый целлофан, изнутри меня тщила пробить целлофан благоразумия и порвать скотч хорошего тона трель, птичий позывной, выстрел децибелами по одиночеству в счастье или беде — вопрос, признание, самое беззаботно-пустое замечание о соседях сверху. Что угодно, приобщившее бы эту девушку к моей эскападе, разрядившее бы в нее накопленный за эти праздничные дни и праздничные минуты восхождения ток.

Но мой как на углях пляшущий голос прозвучал лишь словами благодарности и прощания.

Жизнь рудокопа

Я мешкала покидать вестибюль, темноватый, но настолько партикулярный в своей свободе от каких-либо признаков, что не мог называться ни мрачным, ни даже унылым. Щелкал турникет, впуская и выпуская, а я, как несколько дней назад, не в силах была развязаться и поставить хотя бы многоточие.

Уже оперев ладонь в перекладину, я повернулась к вахтерскому окошечку: тот мужчина в черном пальто, который прошел до меня... И хотя я решила скорее на облегчительное кровопускание, чем на выпытывание чего-либо у вахтера, которого миновали после мужчины в черном пальто десятка два мужчин, тот почти дружески подхватил: из**

Он приготовился выслушать мой бесстрастный и гладкий, как стальная перекладина турникета, вопрос. Я пробормотала, что обозналась, и выскочила вон, спеша свериться с одной из табличек. Интернет подтвердил дома то, что припомнилось по дороге. Эта фирма производила карманные фонарики, а может, лишь торговала ими, но ничем больше. У нее не было ни сайта, ни страницы в соцсетях. «Яндекс-карты» давали, правда, два контактных номера: городской и мобильный. Я набрала второй. Мне ответил чуть искаженный поношенностью обоих, моего и другого, аппаратов голос, который я впервые услышала на ступеньках в светло-сером здании.

«Продаете ли вы в розницу или только оптом?» — «Разумеется, продаем и в розницу, но со склада, подъезжайте на склад и выбирайте, у вас есть на чем запи-

сать адрес, или лучше послать вам его в смс?» – «Диктуйте, я запишу».

Купить – вряд ли у него, маловероятно, чтоб он был и за кладовщика, – фонарик, сломать, позвонить и пожаловаться на низкое качество? Но моя отчаянность, видно, достигла пика и теперь повернула вспять. Я не поехала на склад и провела следующие два дня так, как проводила их до нынешних ноябрьских праздников. Доверилась ли я Богу или только выдохлась, одно ясно: пару часов спустя после предварительного сговора о покупке я снова себя узнавала в той, которая разбросанно болтала с родителями, заваривала чай, читала текущую книгу и смотрела передачу канала для путешественников. Она будто бы этим утром выписалась из больницы, где ей была сделана недолгая и несложная, но неотложная операция.

От продавца фонариков, как я его, конечно же, про себя не определяла, но до сих пор не дерзнула определять хоть как-то, я не отреклась и вообще не отреклась ни от чего, а лишь отказалась, и то не отказалась, а просто, когда иссякла инерция пущенного безумием колеса, согласилась, что так лучше.

На третий день вечером я на себе испытала описанное явление: телефон только подал первый сигнал из сумки в прихожей, но я, хотя не ждала звонка, знала, кто звонит.

«Вы не приехали на склад. Не могли бы вы сказать, почему передумали?»

Я села на пол. Собственно, я удержалась в последний момент, чтобы, послушно телу, не лечь на пол навыв-

Жизнь рудокопа

тяжку, но достоинство выручил рассудок, напомнивший о родителях, которые могут меня увидеть.

«Потому что мне не нужен фонарик».

Пауза. «Кажется, я знаю, *что* вам нужно».

От догадки о его догадке меня накрыл смех, но зато лицо матери, заглянувшей из комнаты, вынудило подняться. Нет, на самом деле я не поднялась, а рухнула — вместе со смехом, валившим, как оползень, на обломки того, что грохотом своего падения лавину и вызвало.

«Мне не нужны наркотики!»

«У меня их и нет. Но, судя по вашей реакции, вы не от моей матушки. Как помилованная, я робко опешила. Не от нее. Я с ней даже незнакома. Тогда... Тогда не понимаю».

В тоне его не было колкого нетерпения. Растерянный, но не рассерженный, а, похоже, и заинтригованный, он не заслужил уверток, и уж если я тратила его время, то покрыть траты должна была чем-то редким и ценным, к тому же всяко полезным для нас обоих.

К маме присоединился отец, поэтому я прошла с телефоном в ванную и закрылась.

«Вы когда-нибудь шли за понравившейся незнакомой женщиной, просто чтобы узнать, куда она идет? Где работает. Как звучит ее голос».

Долг этих дней я платила честностью и за честность удостоилась венца — голову объяла пульсирующая ледяная боль.

«Нет... но я вполне способен такое себе представить. (Его тонкость превышала отметку сочувственного минимума.) В том смысле, что это нормально...»

«Пожалуйста, простите за то, что отняла ваше время попусту и напрасно обнадежила. Я поспрашиваю коллег, возможно, кто-то ищет карманный фонарик. Да и сама куплю у вас...»

«Вам удобно подъехать?..»

Я еще занималась своей триадой, возясь в ней, как в искусственной, особо вязкой грязи, а его слова уже были тут, и я отпрянула на них, словно ненароком ступив из лужи на сухую почву. И, как уличенный в проделке ребенок выпаливает, что это не он, выпалила, что завтра весь день работаю.

«Я тоже. Вам удобно *в субботу* днем подъехать на “Дмитровскую”?»

Венец врезался в черепную кость словно бы напоследок.

«На “Дмитровскую”?..» Я не уточняла, а как бы проверяла, понимаю ли смысл слова, вспышкой боли засвеченный.

«Там несколько выходов, так что давайте встретимся прямо внизу, в центре зала. Когда вам удобнее: в час, в полвторого? В два?»

В час.

Тогда до субботы.

До субботы, повторила я, и он отключился.

Чем объяснить, что с нас все-таки не довольно получать только сторге, родственную любовь, и необходимо, чтобы хоть раз чужой, свободный человек вдруг по собственной воле пошел за нами? Не *инстинктом*

Жизнь рудокопа

же *продолжения рода* из советского учебника биологии для старших классов (почему тогда не гнездования?..). Скорее нам хочется, чтобы нас любили незаслуженно, но чтобы мы при этом ничего не должны были за эту незаслуженность, как должны родным, даже зная, что они ничего в ответ не ждут, — мы сами ждем от себя отдачи им. Чувство человека со стороны просто падает на вас вдруг, но падает именно на вас, этому чувству почему-то нужны только вы, а почему, ни вы, ни тот человек понимать не обязаны; выпадает благодарно-блажными осадками, уверяя в непредсказуемости благодати и в законности блажи. То есть в нашей оправданности.

По пути к «Дмитровской» я повторяла, уже дремотно, поскольку давно отточила и затвердила инструкцию: какое предложение отвергну сразу, над каким подумаю, но знала и что, для чего бы ему ни понадобилась, безоговорочно соглашусь, и решимость уже не пугала меня как первая ласточка психоза, как маска на самоуничтожении. То, к чему я неслась, сидя в вагоне с сумкой на коленях и сложенными поверх сумки руками, не могло навредить мне. Это знание (не убежденность, не вера) уже было во мне, когда я проснулась, — покоем, который я вынесла из крепкого сна, и скорее покоем-знанием, чем мыслью-знанием, и тем более прочным, чем менее правомочным.

Но что я знала о человеке, для которого наша третья по счету встреча — свидание вслепую? Что он в ссоре с матерью, что его бизнес дышит на ладан, а потому,

вероятно, он работает в двух местах, деля день между ними.

Я смотрела на то, на что эти несколько дней запрещала себе смотреть. Не зажмуриваясь, я видела разложенные на косой пробор, свисающие вдоль щек волосы, родимое пятно, кольцо с молитвой, журнал в правой руке, водянисто-голубые глаза, и я спрашивала:

— Ты любишь меня?

Он стоял чуть сбоку от черного литого барельефа в торце, вполоборота к платформе, противоположной той, на которую я сошла, и держал обеими руками, у живота, букет бледно-розовых георгинов. Когда я приблизилась не с той стороны, откуда меня ждали, он повернулся, не резко, а как бы отставляя на время некое размышление. Углы губ его пошли вверх, брови же были чуть сдвинуты, что могло выдавать принуждение себя к улыбке, но тут значило обратное: нахмурился он заведомо, а улыбнулся — на меня, как на нечто гораздо менее безнадежное, чем сулил разговор по телефону.

Я поблагодарила за букет, правдиво добавив, что люблю георгины, и придержав, что раньше мне вообще не дарили цветы.

— Это георгины? — Он глянул на свое подношение со спокойным любопытством.

Что открывала мне его деланая ровность? Ему хотелось увидеть женщину, так далеко зашедшую в своем интересе, и вот он видит. Ему остро хочется узнать, когда и где я увидела его, при каких обстоятельствах, как выяснила место работы, однако он молчит, боясь быть

Жизнь рудокопа

бестактным, но и не в силах сронить что-то вопиюще необязательное, безразличное, предсказуемое. Он не решается запустить программу, которая конвертирует меня в то, что легче всего принять и открыть, — в заполнение промежутка между последней и очередной длительной связью. Не решается потому, что наш незванный, даровой случай обязывает к бережному обращению — слишком уж хрупок тщеславной и утлой хрупкостью: то ли хитрое изделие, то ли ломкий хрящ.

Он представился Кириллом, я назвалась, и мы как будто поставили подписи под свидетельством о том, что встреча — ошибка. Мы признали, что в тупике, куда нас завела ненасытность: перейдя рубеж телефонного разговора, мы переступили через триумф, после которого следовало почивать на лаврах. Мы попрали нашу награду — и отменили победу.

Та, в вагоне, готовая служить чем и чему угодно, проехала «Дмитровскую» — ее дождался запасник, архив, хранилище не востребованного возможного. Я не досмотрела фильма, на место героини которого со сладостной прилежностью подставляла себя в каждом кадре, но тоскиво-страстное самозаклание экранной бедовой меланхолички свертывалось, стоило только подставить ее на место меня. На своем единственном месте в той же, но трехмерной истории я могла быть только ничтожным средством к ничтожной цели.

На эскалаторе он пропустил меня вперед и еще отступил вниз на пару ступенек — механическая галантность или соображение выгоды для обзора, но то, что

теперь, легализовавшись, уже я стою выше и впереди, и пристыжало меня, и тяготило стыдом за него.

Как только мы вышли на улицу, Кирилл спросил, хотела бы я погулять или посидеть в кафе. Я выбрала кафе, чтобы больше не нести букет, упруго валившийся то влево, то вправо. Прогулка между тем досталась в придачу: ведь если Кирилл жил где-то здесь, то ел либо дома, либо вблизи работы, стало быть, и здешний общепит существовал для него немногим более достоверно, чем для меня. Среди вывесок, мимо которых мы шли, попадались и вывески заведений быстрого питания, но таких, где ритм задан бургером – утрамбовывать в этот ритм беседу было бы смешно. Подходящим показалось кафе азиатской кухни на другой стороне улицы. Я не навыкла посещать такие места, да и Кирилл, вероятно, судя по равнодушному замедлению, с которым повел меня вдоль столов. Мы сели за последний в ряду у окна. Кирилл снял пальто, и я вспомнила, что тогда, в вагоне, одет он был так же: черные кожаные брюки и оливковая рубашка, из матово-переливчатой, имитирующей шелк ткани.

Я заказала только кофе, и Кирилл вдогонку – кажется, просто чтобы усладить официанта. Тот, почти благоговейно вызволивший от меня цветы, через некоторое время поставил их на стол в стеклянном кувшине для лимонада.

Изумление Кирилла нашим одинаковым кольцам, как всякое безотчетное и бескорыстное изумление, вышло радостным, и я первой, за него, внутренне осеклась,

Жизнь рудокопа

но тут же и он, глянув на меня коротко, чуть откинулся и стал смотреть в окно.

Я сказала, что свет совсем апрельский. Нет, Кирилл покачал головой, слишком много меди – апрель скорее серебряный. Приложив его «медь» к тому, что видела, я сразу уверилась, насколько он точен. Медная искра бежала по каждой волосяной грани, и песочная розовость оседала на плоти и на бесплотном, пригашая изжелтагазовые рефлексy, разрыхляя остроту свечения. Равно голуби и «сталинский» вал фасадов, укреплявший тот берег Бутырской улицы, обменивали сизый пепел масти на эту розовую соль, и в воздушной середине между асфальтом и небом, в самом воздухе этого, для глаз и дыхания, пространства цвет оживал; цвет возвращался свету и его пальцами мимолетом разносился повсюду – сдержанно-семейная обоюдная ласка твари.

За то, что я это вижу, способна видеть, даже теперь, когда я не одна, за то, что оно не исчезло рядом с Кириллом, за это я была благодарна Кириллу.

Да, скорее сеเปีย. Может, сравнение с металлами ему ближе, предположил Кирилл, потому что его специальность – металлогения, он окончил Горный институт. Мне, перехватила я, пришла на ум метафора из области фотографии потому, наверное, что – «фотос», свет, а не потому, что я фотограф или художник. Я всегда невольно отмечаю, какой свет, – не знаю, откуда это, но сколько себя помню. И меня уже давно интересует философия света. Гегель называл свет первым «я», источником субъективности, то есть различения, личности в чув-

ственном мире, который был бы иначе лишь грузно, непроницаемо, невыносимо-вязко объективен. Но верно и то, что свет не смотрит на лица и примиряет различия...

Но ведь я не философ? Профессиональный, он имеет в виду. С дипломом.

Надежда и брезгливость в его тоне застали меня врасплох, как волна из-под колес проскочившего на пешеходный «зеленый» автомобиля.

Нет. Диплом у меня документоведа. А профессия, как в трудовой книжке значится, — делопроизводитель. Но о философском факультете я действительно всерьез подумывала и в старших классах, и даже на первом курсе Историко-архивного, чуть было не собралась переводиться, но, видимо, мне, слава Богу, дано трезво смотреть на вещи — трезво не для философии, а для того, чтобы оценить свои способности, может быть, не спору, и, как вы дали понять, сомнительные просто по факту пола...

Что значит «дал понять»?

Ну, мне показалось, может, я ошибаюсь, что вы к женщинам профессиональным, дипломированным философам относитесь иронически.

«Я?!» Как первое его изумление походило больше на радость, так это было дистиллированным изумлением, не шутивным, не оскорбленным, но в своей образцовости доверчивым. Сто процентов показалось. Его родил профессиональный философ, буквально родил, — какая уж тут может быть ирония. Мать — доктор философских наук, профессор, член-корр. РАН. Он помолчал.

Жизнь рудокопа

Так что я должна извинить его, он совсем не хотел меня задеть.

Я спохватилась о Горном.

Да, он изучал горное дело, конкретнее – обогащение полезных ископаемых, в дипломе у него так и значится. Только пусть я сразу забуду куваевские романы и весь этот задушевный мачизм. (Мне было нечего забывать.) В горную промышленность он не стремился, со старших классов метил на геофак МГУ, при котором посещал студию, а до нее кружок при минералогическом музее имени Ферсмана. Он мечтал посвятить себя минералогии, а именно, геммологии – науке о самоцветах, правда, и кристаллохимию рассматривал как более общее направление. Но Бог ссудил так, что он попал в Горный, хотя иначе как теорией заниматься тогда еще не мыслил, твердо знал, что будет ученым-геохимиком. А что диплом писал по обогащению драгметаллов, предпослав, таким образом, себе прикладную специальность, – то так сложились обстоятельства. Подавляющее большинство – ну или, по крайней мере, когда он поступал, таковых еще было большинство – идет в геологи ради образа жизни, ради экспедиций, это радикально иной человеческий тип, с представителями которого ему никогда не удавалось найти общий язык. Они всерьез мнят себя *последними романтиками*. Между тем нет ничего более антиромантического, чем экспедиция. Он был в экспедиции однажды, и одного раза ему хватило. Миф экспедиций стоит на двух заблуждениях: что если ты проводишь в них жизнь, то, значит, тобою дви-

жет любовь к природе — раз и бегство от социума — два. На самом деле в экспедиции легко дышат те, у кого социальный инстинкт переразвит, пчелиного уровня, которым пресловутая природа вне общения с себе подобными задаром не нужна. В экспедициях ты постоянно среди людей. Невозможно остаться наедине с собой. Не *одному* — это-то пожалуйста, правда, максимум на час, — но не наедине с собой...

Он же мечтал не о мужском бродяжном братстве, а о камнях и металлах, которые полюбил еще в отрочестве, — драгоценные камни и металлы прежде всего. Все началось со школьной экскурсии в Кремль, их, четвероклассников, повели смотреть Оружейную палату, и, пока девчонки дивились на платья всяких Екатерин, а парни — на мушкеты и пищали, он не мог оторваться от окладов, потиров, панагий, царских регалий. Он впервые видел драгоценные камни и тогда же понял, что ничего прекраснее не увидит никогда, что ничего более прекрасного просто не предоставлено человеческому зрению. По счастью, сгоряча он поделился восторгом с матерью одноклассника, которая их сопровождала, и та рассказала ему о музее имени Ферсмана, куда он на другой день помчался и бывал там уже при всякой возможности, а вскоре записался в кружок...

Меня уже распирало имя аббата Суггерия, так ладно и навечно объединившего собою наши пристрастия — философию света и драгоценные камни, и что-то вроде многоточия в монологе дало мне отмашку. Рефлекторное недовольство моим перехватом и новизна имени

Жизнь рудокопа

сначала насторожили Кирилла, но он пожелал узнать, о чем я, и в итоге богослов и строитель, чье восхищение блеском камней как физической зримостью того Божественного света, о котором учил Псевдо-Дионисий, создало цветной витраж, — малый средневековый гигант представил ему свои плечи для опоры.

Вот это и есть любовь к природе. Любовь, основанная на знании и *понимающем* наслаждении. Только такая любовь неэгоистична, потому что ей достаточно своего предмета издалека. Любить ходить в горы не значит любить горы. Чтобы любить горы, необязательно подниматься на них и совсем уж противно любви их покорять.

Но он-то горы любит?

Смеет утверждать, что да.

«Это злое усердие в удвоении, усилении, *сметь утверждать*, эта надменная задиристость — не ресентимент ли, — думалось мне, — обожателя гор, подвизающегося по коммерческой части? Идеал одинокого восхождения, банальность про любовь издалека — романтизм, тем и вполне ходовой, и людный, открытый, как «Странник над морем тумана», *Auf die Berge will ich steigen*¹, вырос передо мной, вспугнув прежний, раннеянварский, только мой». Но и этим, принадлежащим Кириллу, кондовым, как его кожаный портфель, я понимающе наслаждалась.

«...Совершенно лишне доказывать кому-то или самому себе любовь к горам, связывая с ними профес-

¹ Гейне. Путешествие в Грац.

сиональную деятельность и тем более досуг (от альпинизма его тошнит; а от высоты?..)» — подумалось мне безо всякой, впрочем, издевки). Как эта любовь проявляется у него, вообще едва ли можно продемонстрировать. Так сложилось, что работал он всегда только в пределах Москвы. И так вышло, что практически никогда не по специальности. Одно время профессионально занимался музыкой. С другом и однокурсником Иваном, плюс еще трое из Института стали и сплавов, они играли — не смейтесь — индастриал-метал (а что еще?), вдохновлялись «Rammstein», разве что размах и уровень были по возможностям и способностям: получалась Neue Deutsche Härte, «новая немецкая тяжесть» на русский лад. Из уважения к «первоисточнику», точнее, преклонения, Кирилл дважды брался учить немецкий и со второй попытки освоил бы азы, кабы не Иван, убедивший-таки, что главное — не буква, а дух. Группа называлась Konrad. Никакого особого смысла здесь нет, это анаграмма его инициала и фамилии — К. Андронов. Они выступали в ДК, а как-то раз случился и стадион, на разогреве у одной команды из Германии, название которой вряд ли мне что-то скажет. Группа продержалась, однако, шесть лет, был даже записан альбом, который, правда, расхотелся потом еще лет десять, но, в конце концов, весь тираж был продан, а это немало.

Тевтонская нота, которую я считала своим домыслом, никому и ничему, кроме меня, не обязанным и Кириллу ни к чему не обязывающим, теперь точно динамиками приближенная, ударила по барабанным перепон-

Жизнь рудокопа

кам, хлестнула через край, обесценив мой вклад. Чувство, будто меня разжаловали, уравнивала, лстя, моя пронизательность, хотя и слишком чудесная, чтобы не быть поддавками мне Провидения. Она, эта нота, уже вплелась в мое понимающее наслаждение грамотной, хорошо артикулированной – правильной, спрямленной речью Кирилла.

Кстати, вся фирма – они двое с Иваном; это Иван нашел поставщика, зарегистрировал бренд, снял офис, а Кирилла позвал коммерческим директором, что было не совсем последовательно. Они хотели бы расширить бизнес, торговать не только фонариками, но и разными светодиодными лампами, однако ниша уже плотно занята, а с тех пор, как фонарики встроены во все гаджеты, дела идут откровенно плохо. Так что он уже год как на полставки преподает основы геологии в Строительном колледже. А до их с Иваном бизнеса поработал в нескольких инжиниринговых компаниях.

Говоря, Кирилл иной раз исподволь прокручивал кольцо, довольно свободно сидящее на пальце, – само по себе движение не было нервно-суетливым, но все же очевидно навязчивым. Когда он улыбался, напряжение, тоже, как и речь, выправленное, спрямленное, словно натягивалось, особенно если Кирилл молча слушал, склонив голову набок, и давало на выходе приторность. Когда же он нарочно серьезнел, например подтрунивая над собой времен музыкальных опытов, то лицо его, наоборот, расслаблялось, делалось ясно и мирно-скупным.

Он не каждую секунду мне нравился, а иную — был неприятен, но я любовалась им.

Извинившись за, возможно, слишком личный вопрос, я спросила, почему все-таки не МГУ, а Горный и что заставило его поменять теоретическую науку на прикладную.

Вопрос личный, но есть личные вопросы, на которые стоит отвечать, и он ответит. На геофак МГУ был большой конкурс, по сведениям из проверенного источника, собирались нещадно «валить», а попасть в «отвалы» значило армию. Он решил подстраховаться Геологоразведочным институтом, благо университет всегда проводит экзамены чуть раньше других вузов, но руководитель кружка посоветовал Горный, куда Кирилл и подал документы после непроходного балла в МГУ, и, как уже сказал, Бог судил за него. А направление на третьем курсе Горного поменял потому, что маячило создание семьи, в итоге сорвавшееся, и он, не без некоторых мук, конечно, решил иметь специальность более перспективную с точки зрения трудоустройства и достаточного для прокорма семьи заработка.

По умолчанию я перенесла выданный мне лимит и на второй сугубо личный вопрос, защищаясь перед собой тем, что, упомянув о сорвавшемся браке, Кирилл не может не ожидать засева им самим подготовленной почвы.

Нет, семьи нет и сейчас. Женат он никогда не был, живет один. А я не была замужем, правда, и планов на этот счет не вынашивала, живу с родителями.

Жизнь рудокопа

Чем дольше длилась встреча, тем дальше нас разводила, но, вопреки разрушительной избыточности того, что длилось, пока мы сидели друг против друга, я была счастлива. Это, длящееся, было нашим ребенком, и премиальные цветы, туповато громоздящиеся в кувшине, словно все поздравляли и поздравляли меня, не умея остановиться сами, пока их не уберут с глаз. И пусть «новорожденный», сразу встав на ноги и не нуждаясь в заботе, великодушно отторгнул родителей. Бесплодное само стало плодом, разрешив собой и избавив «мать», да и «отца» от круговорота сожалений о нерешительности и угрызений об опрометчивости. Но тогда уж это родители выпростались из плаценты мелкого маловерия, скаредной самоохраны. Преступив, да, неблагоговейно преступив, приступили к жизни — вызывающе под землей, — к жизни на вольном воздухе.

Когда я сказала, что заплачу за свой кофе, Кирилл не стал натужно протестовать. С заботливостью, клонящейся в деловитость, он поинтересовался о следующем разе: где и когда мне удобно. Нигде и никогда. Я сама удивилась верному тону и единому выдоху. Я очень счастлива. И буду счастлива еще долго. И поэтому следующего раза не будет. Он не нужен.

Кирилл не позволил мне насладиться этой, к нему относящейся, ему воздающей честь, горно-белоснежной необратимостью.

Кому? *Мне* следующий раз не нужен? А если нужен ему?

Его почти возмущение было настолько поперек, что и меня почти возмутило, вырвав: «Как это?»

А вот так. Я счастлива — флаг мне в руки, но то, что произошло, касается нас обоих. Я не могу поэтому просто сбежать. Он констатировал, до такой степени не прося, что даже не упрекая. Я именно сейчас ему необходима. (Утвердительность поясняюще смягчилась.) И я не должна бояться: он не сделает мне ничего плохого. Он произнес это без снисходительного поддразнивания волокиты, которому льстит девичья опаска. Не прося, он просил и всей возможной для себя пуританской серьезностью вкладывался в эту просьбу. Просьбу, которая, недвусмысленно, ясно, как на просвет, не касалась мужского и женского.

Но зачем была я необходима? Вызвать чью-то ревность? Устрашить или, наоборот, умиротворить его мамушку? Обеспечить ему фиктивный брак? Ничто из этого не стоило моего страха.

Я и не боюсь его. Тут дело в другом. Просто по пути сюда все успело закончиться. *Слишком быстро все закончилось...*

Из памяти подло высунулось, что так говорят о половом акте, и меня, наверное, бросило в краску. Но либо Кирилл был чище меня, либо я была для него чище его, а значит, и меня подлинной.

Ну, раз так, раз все закончилось (не только тон, но и голос его пустотело, в горькой легкости от обиды приподнялся), тогда он может открыть мне без обиняков, что вынес из нашей встречи.

Жизнь рудокопа

Эта «встреча», которая у меня внутри всегда опережала «свидание», укоряла меня. Укора мне от меня же, которой вдруг стало больно не знать и не узнать никогда, о чем он собирался просить.

Разобрать, за себя или за него эту боль, а вернее, разлепить ее на боль за себя и боль за него, не получалось тем паче, что я уже видела подоплеку моей вероломной принципиальности — прежде всего, если не *лишь* сознание несексуальной и неромантической сути его нужды во мне.

Где та точка, в которой я уже знала об этой сути, а посему и знала, что бояться мне нечего? Я понимала это уже в вагоне. Постановщица, исполнительница и зрительница малобюджетной урбанистической драмы, не без — благопристойной, вымученно-атмосферной — эротики, с обязательным катарсисом открытого финала. Перебирая, что с ходу отклоню, как особа порядочная и воцерковленная, а что взвешу, и не собираясь отклонять ничего, я обманывала себя с другим обманом. Как особе порядочной и воцерковленной, мне тем дешевле давалось парение над предрассудками, что пикировать на них и рвать в мясо заведомо не придется. Полно: неужели я верила в то, что на станции «Дмитровская» фантазия и *жизнь* сыграют химическую свадьбу, что человек, к которому я приближаюсь, заговорит со мной немного отретушированными репликами сценария? Не по добродетельности или чистоплююству я не могла быть ничтожным средством к ничтожной цели, а потому, что цели как истца и целомудрия как ответчика

нет. И жертва (по пути), и отступничество от нее (по прибытии), и безоглядность, и своевременная разумность летели в молоко, но прямой, моей же наводкой.

Я понимала все еще за два дня, с вечера среды, с телефонного разговора, если не прежде звонка. На платформе понимала, что он в мыслях не имеет заполнять мною паузу, — не потому, что опять-таки сверхъестественно чистоплотен или милосерден, а потому, что любила я, а не он, я искала его, а не он меня, я нуждалась в нем, а не он во мне.

Но это ведь означает еще один радиус самообмана. Безотчетно успокоенная тем, что заранее соглашалась на все, чего он от меня захочет, дурачу себя, сочиняю себя и его, я тем самым по-настоящему заранее соглашалась на все. На его настоящее «все», а не сочиненное мною. На «все» как на круглый ноль. Понимая, что назначенная мне встреча — подачка, ну, не так патетично, отправление чуткости, я зачем-то ведь ехала на «Дмитровскую». Ноль подрос до единицы: от меня все-таки что-то нужно, но что-то буднично-благонамеренное, опратно-человеческое.

Но теперь, когда самый внешний обруч самообмана лопнул, переигрывать поздно. Поставить себя перед ним в той невинности, которую он боялся смутить, вернуть себе эту невинность — я не представляла, как взяться. С одной стороны, раз решила за нас я, то у меня было право отменить решение, с другой — после того как я объявила, что все закончилось, все закончилось и для него, здесь уже он был в своем праве. Напрямик из-

Жизнь рудокопа

виниться? Или окольно, любезностью показать, что откладываю бегство и готова к услуге?

Так что же он вынес?.. Когда на платформе он меня увидел, мой взгляд и как я взяла букет, то понял, что это не жалость.

Последнее слово, вопросительно повторенное мною, он выговорил почти горделиво, даже подбородок как будто чуть подался вперед, так что шея стала заметнее.

Да. Жалость. Он притронулся к пятну костяшками пальцев, не опуская подбородка и продолжая глядеть на меня в упор. То есть сначала он думал, что я посредник его матери (так уж вышло, что напрямую они с некоторых пор не общаются), а когда выяснилось, что нет, предположил, что я... просто проявляю сострадание, в котором, как мне кажется, он нуждается.

И он не рассердился?

Зачем?

Не почувствовал себя оскорбленным?..

Зачем... Напротив. Решил посмотреть на человека, который отважился сломить инерцию, по которой мы все движемся друг мимо друга, можем даже наступить на самолюбие, прикинуться... изобразить увлечение, чтобы другой человек поверил в себя. Подарить другому человеку... надежду... На слове «надежда» он повел плечами, как бы отдавая его тем, кто охотнее и увереннее им пользуется.

Но когда... (Кирилл опустил глаза и прочистил горло, и на миг мне до ненависти стало страшно, что он сей-

час прослезится.) Когда я появилась, тут он совсем растерялся, потому что увидел, что... что это не жалость, а...

Он понял, что перемахнул и подать назад невозможно. Это был самый момент, чтобы, придя ему на помощь, спасти себя.

Так зачем я необходима ему?

Это уже не важно.

Небрежность скороговорки наказывала меня, но я не далась. Важно.

Хорошо. (Он словно ставил тире вместо звена «Пеняйте на себя».) Ему нужна сестра.

Медицинская?

Чья-то, подложная язвительность другим концом огрела меня саму, но Кирилл или не уловил ее, или наскоро простил, или принял как заслуженную.

Нет. Родная.

Это связано с наследством? Я не буду участвовать в юридических махинациях!

Мое самоотвержение треснуло с мстительным смаком, как вдруг трескается расхваленное изделие на глазах покупателя. Но Кирилл простил мне и это: улыбка, которая вывела на его лицо мое уже второе после «наркотиков» подозрение в криминальном умысле, пусть и исковерканная наконец объединенными силами приторности и напряженности, еще упорствовала быть нашей связкой, нашей перемышкой.

Он же сказал, что мне нечего бояться. Только заранее предупреждает: то, что он сейчас будет говорить, возможно, и даже наверняка никакого отношения не

Жизнь рудокопа

имеет ко мне настоящей, так что я смело могу не принимать на свой счет того, что покажется чересчур. Ну, покажется бестактным... Так вот, мой взгляд, когда я подошла на платформе. В нем была уязвимость. Не то чтобы стрелка развернулась и он понял, что это я нуждаюсь в его жалости, не то чтобы я смотрела на него не сверху вниз, а снизу вверх — фигурально выражаясь, понятно. Но когда ему открылось, что я не жалею его, а... Скажем так, для меня он кто-то, кого жалеть не за что... Тогда-то он вспомнил, что всегда мечтал... Лет в шестнадцать-семнадцать-восемнадцать мечтал о младшей сестре. Ну вот нет у него сестры!.. (Последнюю фразу Кирилл подоткнул в конце, для устойчивости, смешком, похожим на сбивку дыхания, покаянным и недоверчивым.) И именно сейчас сестра ему необходима. Именно такая, как я. Вот я не мечтала в детстве о старшем брате?..

Он недолго ждал, что я уступлю подсказке, и мое оцепенение перевесило.

Ладно... Простите мне Бога ради этот какой-то бред о сестре... Кирилл положил и секунду удерживал на столе ладони, как на только что захлопнутой крышке, после чего легко, будто оттолкнувшись, встал. Но и я вскочила, то ли поспевая за ним, то ли преграждая ему дорогу.

Мне тогда было двадцать, и уже четыре года, как я знала о некой своей физиологической особенности, подробно в «механику» которой меня не посвящали и которая сказывалась моей свободой от ежемесячной тяготы женского племени. Когда к шестнадцати годам

у меня, не отстающей от ровесниц внешне, так и не наступило половое созревание, мать отвела меня к гинекологу. Гинеколог зачем-то направила меня на рентген, а после была ее часовая беседа с матерью в кабинете. Я занимала этот час единственным достойным мыслящего подростка журналом из разложенных на столике в приемной – об экзотике дальних стран, вроде «GEO». Помню даже, что там было много Индии, фотографии уличной жизни Варанаси на разворот, с непременно ступенчатым спуском к Гангу, цветной ветошью и столбами дыма.

В тот же день дома родители сообщили мне только, что менструаций у меня не будет никогда. На положение вещей, преимущества которого били в глаза, я отозвалась миролюбиво-попустительским пожатием плечами. Прошло несколько лет, и отец попросил у меня времени для важного разговора. Так я узнала имя своей «особенности» – синдром Морриса. У меня нет матки и яичников, потому нет и менструаций, потому и не будет детей. На хромосомном уровне я – мужчина. Чем раньше, тем лучше удалить недоразвитые тестикулы, спрятанные у меня внутри и грозящие однажды переродиться в злокачественную опухоль; неотложность операции и подвела к разговору.

Отнятое материнство меня, двадцатилетнюю и еще не влюблявшуюся, не удручало. Предстоящая операция, первая операция в моей жизни, тревожила. Но была ли я раздавлена или, наоборот, захвачена правдой о своей сущности? Своим невидимым, считай умозритель-

Жизнь рудокопа

ным, как бы отделенным от меня, слишком глубоко загнанным в недра, выбрасывающим меня из меня самой, мужским полом?

Я смотрела на себя точно с широкого конца подзорной трубы. Я старалась проникнуться не трагизмом, так хоть античной трагичностью, фатальностью меня саму предварившего сбоя во мне, своей ложностью, кажимостью. Но все это будто, не впитываясь сквозь кожу, скатывалось с меня, оставляя сухой, бесплодно-сухой, не приносящей плода очистительного отчаянья. Одно под видом другого, я была аппликацией, наклеенной на чуждый фон, но чуждость этого фона оставалась для меня вчуже: зная, что другая, я не могла прочувствовать, насколько другая. Мой «химический» пол не отвечал мне, как мозоль на прикосновение, и я не отвечала ему. Поощряемыми мужскими качествами я похвастаться не могла, равно и щегольнуть предосудительными. Не оправдав посулы Интернета, синдром поспешил на «отступные» своих фейных даров. Стать, выносливость, мужество и воля Жанны д'Арк (во второй редакции синдром носит ее имя), обусловленные высоким уровнем тестостерона острый ум и великолепие шевелюры затерялись на почте. Я была не сверхчеловеком, а только минус-женщиной. Я была меньше самой себя.

С удалением зародышей тестикул я лишилась и истинного, исконного пола, я опустела.

На какой-то день после выписки из больницы, лежа в кровати и уже засыпая, я ощутила судорогу, прошившую меня вдоль. Я вспомнила, что лет с десяти до три-

надцати тосковала о старшем брате, которого не было. Тлеющий ли сигнал гонад или заурядное детское одиночество, но в каждое событие повседневности я подсеяла брата, через него пропуская, его взглядом и голосом просвещая белесоватый поток.

Тем толчком с той ночи тоска вернулась в меня, но в изменившуюся меня — изменившаяся. Вернулась спокойно-внезапной, как все печальные и спасительные уяснения, мыслью, что я и есть мой собственный брат.

Дюжину лет с той ночи я носила его, не помня о нем. И вот срок истек. «Тайна» Кирилла явилась передо мною доконченная и раскрытая. А точнее — я перед ним, заключенным во мне все эти годы братом, теперь вышедшим и стоящим напротив, точно лакановское зеркало.

Я мечтала. То есть я мечтаю. Он может не верить мне, но я тоже мечтаю именно о таком брате, как он.

Знак уклончивого скепсиса, грустно-вежливую усмешку, я приняла бы не то что как правомерный, а как почетный, но Кирилл уставился на меня до почти режущей светлоты вокруг черных точек. Он верил и потому не мог поверить. Зависший взгляд стал предпоследней в тот день его репликой, не считая выказанного желания проводить меня до метро.

Над ступеньками оглянувшись на «сталинскую» вереницу, я увидела цвета грунта, цвета пород и подумала о том, что земные цвета должны быть по необходимости и земляными.

Жизнь рудокопа

— Я позвоню вам, сказала я, но успела разглядеть изнаночное лукавство формулы и тут же поправилась: лучше вы позвоните мне. Да, ответил он, и я быстро стала спускаться.

За год до знакомства с Кириллом мне приснился сон.

Я стояла по щиколотку в солнечной вечерней воде лесного озера. Позади, из-за деревьев, донесся младенческий плач. Я пошла на плач, но тем временем плач превратился в смех, как если бы за время моего продвижения чуть в глубь леса для ребенка прошло несколько месяцев и он научился смеяться, а впрочем, не знаю, с какого возраста дети издают звуки радости. Я углублялась в лес и наконец увидела яркий свет, который лился оттуда же, откуда и смех, — из дупла. Там на трухе и прелых листьях лежал примерно годовалый мальчик. Источником сияния был какой-то участок его лица, может быть, на лбу, или этот источник постоянно по лицу перекатывался. Ликующий ребенок потянулся ко мне, и я вынула его. Я шла по тропинке, держа ребенка очень высоко, почти на плече — вероятно, потому, что не умею носить детей, — как Венера, несущая Амура, с картины Нарсиса Диаса, и тут я проснулась.

В воскресенье после церкви я забыла вернуть звук телефону, а когда спохватилась днем, увидела замороженный, от одиннадцати утра, звонок Кирилла. Я тут же вызвала номер, и на мои извинения, а вернее, в обход них Кирилл спросил — как бы перебивая, хотя не пе-

ребивал, — бывала ли я у Ферсмана. Даже и негеолог много потеряет, не посети он хоть раз Минералогический музей — к тому же этот находится прямо напротив входа в Нескучный сад. Собственно, мы могли сходить сегодня, но теперь уже поздно: касса закрывается, он узнавал, в пять, да и у меня наверняка планы на вечер. Обвинение в планах на вечер я отклонила, но согласилась, что ноябрьские сумерки — не самое уютное время для прогулок, тем более по Нескучному саду, который поэтому пусть вместе с музеем ждет до утра субботы.

Мне понравилось, что Кирилл употребляет слово «уютный» и не исповедует культ темного времени суток, который для меня был невыигрышной стороной романтизма, но больше всего мне понравилось, что он не спешит любой ценой встретиться. Пусть я предпочла бы увидеть его сегодня, а не заодно с музеем и парком ждать до субботы, но понимала, что этой «братской» несуетностью Кирилл уверяет, упрочивает и возделывает наше *Geschwisterlein*. Уповая на терпеливое превосходство над нами того, чему мы положили начало, веря в независимость его от наших усилий, я попускала себе хотя бы до времени не понимать, что же значит мой статус сестры и что значит он для Кирилла; назвав меня именно такой сестрой, каковая необходима ему, какой он видит меня; какой сестрой я должна быть, чтобы оправдать его ожидания?

Привязывая необходимость во мне, и не просто во мне, а в сестре, к насущному *сейчас*, какой помощи ждал от меня Кирилл? Брось его женщина (вряд ли он распо-

Жизнь рудокопа

лагал на данный момент подругой, если был готов уделить мне два дня подряд), он испытывал бы необходимость в утешении равновеликом, а если допустить, что он виртуозный лицемер и всех своих «сестер» проводит одним путем, то перенос встречи ему же невыгоден.

Я ощупывала свою необходимость в нем, как слепой, а до его необходимости во мне не могла и дотянуться. Под моими пальцами только болью вскрикивали воспаленные бугры нагноившегося неразделенного чувства. Я знала, какво безнадежно влюбленной, но не какво влюбленной сестре. И если бы еще я воочию видела, что у влюбленной перевес над сестрой или сестра – всего лишь код доступа, чтобы влюбленная проскочила на закрытую территорию, но влюбленность не зачеркивала и не умаляла сестринства.

Будь даже у меня родной брат, разве я лучше понимала бы, что означает названное родство взрослых мужчины и женщины, когда из него отжаты порочная игривость и шкурная прагматика? Суперобложку для дружбы, вываренной в годах взросления до безвредности и бесполезности? Но, вскочив накануне из-за стола, в полный рост представая своему зеркалу, я отдавала себе отчет, что проскакиваю и между смыкающимися дверьми вагона, который умчит меня по линии наибольшего сопротивления, по еще никем не опробованному, экспериментальному, бесконечному сверхкольцу.

Я не умела дружить и не тяготилась своей замкнутостью. Мне был нужен не друг, но кто-то, кого нельзя выбрать, зато можно, если от рождения не имеешь, найти,

кого, как я Кирилла, а он меня, вначале нужно совсем, вчистую не знать — именно для того, чтобы узнавать, возрастая рядом.

Я нашла брата, потому что потеряла мужчину из вагона поезда, мужчину из светло-серого здания. Или мужчину, потерянного прежде, чем я была? Я нашла брата, потеряв того, кого все равно не имела бы, — и после, и благодаря, и по причине потери. Брата, который был нужен мне еще раньше — раньше как в значении «до», так и в значении «уже не». Противоречия снимались в синтезе, как в фильме по сценарию, финал которого прописан, но реплики отданы на откуп актерской импровизации.

Рассудительное откладывание нашей встречи на неделю успокаивало меня не столько как признак искренности Кирилла в его «братстве», которая и без того была налицо. Оно успокаивало, намекая на достаточный запас времени. Нам предстояло взаимно узнавать и взаимно открываться.

Но наш телефонный разговор не закончился согласием о субботе. Удобно ли мне поговорить еще какое-то время? Тогда не могла бы я рассказать подробнее о философии света у Гегеля. Интернет, со светом не церемонясь, навел тень на плетень, но и не звонить же матери за консультацией — это бы ее убило.

Каламбур служил обелению сарказма, но служба вышла дурная: и каламбур, и сарказм были слишком топорными, чтобы второй мог спрятаться за первым. Я сказала, что Интернет можно понять: как таковой от-

Жизнь рудокопа

дельной философии света у Гегеля нет. То, что Гегель говорит о свете, становится философией у меня или для меня, когда я соотношу его восприятие со своим. Гегель назвал свет нематериальной материей. Свет сродни духу: и свет, и дух проясняют, делают видимым, разница в том, что свет делает видимым другое, а дух — самого себя. Однако, по-моему, свет тоже делает видимым самого себя, а не только другое. То, что светом привносится — я говорю о солнечном свете, — невозможно объяснить, обосновать, разложить, но оно зримо помимо зримости освещаемых предметов.

То есть свет выше духа, раз ему доступно больше, чему духу?

Эта дикарски неподкупная логика, без малейшего подвоха и вызова, с точки зрения европейской метафизики и бурлескная, и кощунственная, обескуражила меня. Да нет, просто свет ближе к духу, чем того хотелось Гегелю; интуиция не подвела скорее Псевдо-Дионисия и его последователей в XII веке.

А почему он *псевдо*? Впрочем, нет — лучше продолжайте про свет.

Свет показывает, что красота не держится ни на чем. Он показывает это тем, что сам и есть эта красота, которая не обусловлена чем-либо материальным: формой, цветом предметов, на которые он проливается, их совершенством самих по себе. Ты смотришь, например, в перспективу улицы, куда угодно... и только рама кадрирующего взгляда полагает границы совершенству, носитель которого внутри этой рамы ты не можешь вы-

делить. В тварном мире ничто не обладает красотой. И везде красота может быть явлена. Потому что физической, природной красоты вообще нет, красота духовна. В тварном мире ничто не обладает красотой, и она ничем в нем не владеет. Вот об этом свидетельствует свет. У света, хотя он и сотворен, ничего здесь нет, как и у духа. И здесь он всегда у себя — как и дух. А вообще-то мне трудно рассуждать о том, что в данный момент не перед глазами, иначе это уже разглагольствование, а не песня. Я собиралась сказать «не хвала», но окоротила себя.

Второй раз за наш разговор Кирилл вступил так, будто, выслушав до конца, перебивает. Он очень хочет, чтобы я увидела минералы, мне непременно нужно их увидеть. Это переубедит меня относительно того, что красота не держится ни на чем, что в тварном мире нет ничего, обладающего красотой. Царство минералов, сокровищница земли, там подлинная красота совершенного в самом себе творения, которую солнечный свет, конечно, раскрывает, но дарует не он.

А самоцветы?..

Вот уж кому, а им точно не нужен естественный, солнечный свет, недаром Кирилла они покорили сквозь музейную витрину дважды — в Оружейной палате и затем у Ферсмана, и, кстати, эта вторая встреча, теперь с первозданным, нешлифованным и тем более неограниченным камнем показала, насколько вообще спровоцированная ювелирным искусством игра бликов безвкусна и бессильна против природной красоты. Впрочем, те-

Жизнь рудокопа

перь Кирилл и по себе понял, что слова выхолащивают самое дорогое, когда не видишь его непосредственно. А ведь он не был в музее Ферсмана со студенческих лет, он будет всю неделю ждать этого праздника, как ему уже сейчас не терпится, скорей бы суббота. Тем не менее, если ему захочется поговорить *о чем-нибудь стоящем*, может ли он на неделе позвонить?

Я снизошла к его просьбе, а закончила тем, что и для меня вся неделя пройдет под знаком будущей субботы, ожидаемого переубеждения.

В чем я буду переубеждена? Что всякой плотной вещественности нужно зажечься извне, чтобы ее красота состоялась? И взамен убеждена в чем? В том, что если солнечный свет есть тело красоты, то лишь над поверхностью Земли, а ниже Земля справляется без него? Что красота – свойство предмета, пребывающее неотъемлемо, неизменно и независимо от переменчивых внешних условий вроде компоновки света и тени? Что однажды сотворенное уже несет в себе всю полноту качеств?.. Наконец, что подлинной красотой наделены только минералы, во веки веков, аминь.

Но не Кириллу ли с его естественно-научным образованием пристало знать, что плотная на глаз вещественность иллюзорна, что фотоны такие же материальные частицы, как любые другие, а чувственно осязаемая плоть так же бесплотна по существу, как луч на вид. Разногласие видимости и сущности, а лучше сказать, наружного и внутреннего – как мой мужской генотип при женском фенотипе. Ведь имеем мы перед собой то, о

чем разглагольствуем, или нет, все равно наша болтовня елозит по плоскости, в лучшем случае попутно стирая пыль, но это стекло закрашено с обратной стороны.

Пятнадцать—двадцать лет назад музыка не имела для меня такого жизнеподдерживающего значения, как для большинства моих сверстников, но издали мне импонировал косолапый напор «металла», перегоняющий силу в громкость, кромсающий ее наивно-толстыми ломтями, чтобы оделить детей, женщин и просто слабаков. И я, когда мне перепала порция, чувствовала подобие электрического зуда в мышцах и собственной власти над собой, не принуждающей, дружески-мягкой и дружески-крепкой.

Группа «Konrad», уже лет пятнадцать не существующая, удивила безропотностью и обилием, с которыми представлял ее Интернет. Но тройне удивительна черная подводка глаз, черный лак ногтей и, главное, замазанное тональным карандашом, но и сквозь грим себя выдающее пятно. Многожды воспроизводились несколько однообразных афишных фотографий, безыскусно-исчерпывающих, как учебная иллюстрация. Стоя, в согласии со званием фронтмена, чуть на переднем плане и строго по центру, молодой, статуарно красивый, весь темно-светлый — мучнистое от грима лицо, незагорелые подкачанные руки, черная одежда, жирно темнеющие из-за бриолина волосы — Кирилл смотрел, как полагается, прямо и немного исподлобья. Кольца еще не было, его замещали четыре перстня, по два на каждой руке.

Жизнь рудокопа

Видео концертных выступлений в Сети не было, а скорее, их не было вовсе. Я скачала единственный альбом и прослушала от начала до конца. Альбом назывался «Что остается», и двоякость толкования казалась в этом обществе лобовой и ломовой прямизны чем-то рафинированным. На обложке, восприняв слегка пластилиновую фактуру и буровато-лягушачий глянец компьютерной графики двадцатилетней давности, корбились в куче ржавые не то броневики, не то танки, под искрасна-фиолетовыми, какими они бывают от фейерверков, но не от залпов орудий и не от грозы, небесами.

Автором музыки значился уже известный мне Иван, текстов — один из троих, изучавших сталь и сплавы. Непричастность Кирилла к самому сердцу творчества и огорчила, и тронула меня, но она же свела на нет мой интерес к словам. Тексты напоминали пышущую здоровой шизофренией лирику неглупого и неравнодушного к поэзии старшекласника, впрочем, почему напоминали, если, скорее всего, ею и были. В них не упоминались ни рудники, ни копи, ни сталь, ни золото, ни уголь, ни шахты, ни пещеры горного короля, ни вырываемые с корнями буйством Рюбецаля на вершинах ветром сосны. В них, как и положено ему, стариковски куксился бестелесный юношеский бунт. Температура их была комнатной, за именами стояли понятия, а не вещи, и слово «кровь» не встречалось даже как абстракция. Сколь бы мизантропически ни резонерствовали стихи, сколь бы гностически ни мертвили хамскую материю, если в них проникло слово «кровь», дело сделано — они

уже не могут сопротивляться жизни. Кровь сопологаема с жестокостью и страданием, но никогда со смертью.

Если инструментальное грохотанье с гоном перкуссионной отбивки и зубовным скрежетом синтезатора было мертвой водой, в хлесте которой слова кувыркалились и захлебывались, перед которой тление отступало, то живой водой был голос Кирилла, несильный чистый баритон, пусть и обязанный электронике медной гулкостью, — на него возвращалась душа. Голос выдыхал и выплевывал кровавой жар человеческого в ледяной вихрь обстоятельств, внутри которого тело, зерно тепла, стегалось, секлось и жглось, как вокал внутри музыки. Льдистое крошево забивало рот и ноздри, наждаком шлифовало кожу, и сиянием кожи поглощалось его сверканье. Неменя от стужи, тело не остывало. У любви мог отняться язык, любовь могла разучиться своему языку, но, разучившись себе, забывая, не узнавая и отвергая себя, тем яростнее в этом самоуничижении себе и служила. Исполняя свою мистерию, Кирилл с командой будто исполняли волю той, что скована собственной тяжестью и нелюбящей властью, а потому призывает власть любящую и любовь властную, — волю земли. Магма гудела в багряной мантии, металлоносный панцирь резонировал шуму крови. И там, в толще коры и под нею, тоже не было ничего нечеловеческого, ибо ничего не было, человеком созданного, там не было его руки, приносящей студеной, умерщвленный металл машин в родильный рудный сад. Не могло быть ничего человеческого в утробе Земли, в очаге человеческого

Жизнь рудокопа

дома. В этом неорганическом нутре была жизнь, а в организме на поверхности — смерть, жизнь в делах земли, смерть в человеческих. О смертности, смертельности нечеловеческого в делах человека была игра, о жизни человеческого в делах земли — пение.

Все это я торопилась выложить перед Кириллом, когда сама, наперерез, позвонила ему в среду вечером, сочтя то, чему он шесть лет отдавал себя, *стоящей* темой. Нет, выложить все это ему я не могла уже потому, что тогда, в ту неделю, этих слов у меня еще не было. Я хотела спросить, что отмерило шестилетний срок; не пытался ли Кирилл сочинять тексты, по крайней мере, как-то участвовать в их написании — но нет, этот вопрос, этого непоседливого ребенка, надо было, поборов в себе безответственную мягкотелость, удержать, ибо ущерб от него достоинству Кирилла был непредвидим. Имел ли Кирилл решающее слово лидера в коллективе, ему почти тезоименитом? Смирился ли перед большей стихотворной талантливостью, если вообще большей, а не противостоящей нулю с его стороны? Но вопросы остались при мне, во мне, до лучшей поры.

Я послушала альбом?! Интонация была та же, с которой он ровно неделю назад признал свое непонимание причины моего ложно-делового звонка, — она была непонимающая. Зачем мне его суперменские потуги, если ему самому они настолько незачем, что он, будь то возможно, променял бы эти годы на годы нормальной профессиональной деятельности. Но где для него суперменские потуги, там для меня, во-первых, музы-

ка, а во-вторых, то, что, пусть полжизни назад, было ему дорого.

Дороги — в *тварном мире* и после нескольких людей — ему всегда были только камни.

Как если бы вместо того, чтобы вручить подарок, Кирилл в меня им выстрелил. На внимательность к моим словам, во зло примененную, пришлось основная выработка боли, а поскольку боль тем самолюбивее и мстительнее, чем внезапнее, то я, благо сбереженные слова Кирилла вспомнились кстати, не замедлила отдарить.

А металлы?.. Ведь в геологию его привела мечта не о мужском бродяжном братстве, но о камнях и *металлах*, драгоценных прежде всего, однако последние почему-то, раз названные, исчезли со сцены. Между тем, питай он безразличие к металлам, в дипломе у него вряд ли возникла бы та запись, которая возникла, — одного попечения о будущем молодой семьи мало, чтобы отвернуться от единственно дорогого.

Раскаянье и страх ссоры подействовали сразу, не успела я договорить, как наркоз, впрыснутый мне по пути в операционную, только наркоз наоборот.

Да, действительно, я права. Золото. Странно, что он упустил. Золото.

Кирилл произнес это слово дважды, прежде чем, вновь запоздало перебив, но теперь себя самого, перенес нас в субботу. Поскольку в поисках музея, прилегающего с тыла к тылам жилых домов, я могу заплутать, да и все равно от метро пара остановок наземным транспортом, Кирилл предложил встретиться

Жизнь рудокопа

опять на платформе станции, теперь «Октябрьской»-кольцевой.

Автобус подъехал сразу, как мы вышли из метро, и все десять минут поездки мы не разговаривали. Я молчала потому, что молчал Кирилл, щурясь в суетливой сосредоточенности, и то глядя вниз, то за окно, то обращившись на других пассажиров, но всегда минуя меня, будто путь до цели нельзя было засчитывать и использовать. Расчет времени оправдал скрупулезность Кирилла, чем тот был скорее весело доволен, чем горд: у музея мы оказались точно к открытию. Под темно-синей паркой, которую Кирилл снял в гардеробе, был белый джемпер с треугольным вырезом, надетый поверх рубашки персикового цвета, что, над черными кожаными брюками, как бы отчитывалось по пиршественной нарядности. Скорее весело-нервно, чем нервно-весело Кирилл отметил, что здесь все, ну, точь-в-точь, как двадцать лет назад, и призвал меня не пренебрегать самой обстановкой, законсервированной если не со времен основания, то со времен его детства, самым длинным, единственным залом бывшего усадебного манежа. Призыв был излишен, но я попробовала, не подыгрывая на показ, сыграть в эту игру с собою. И вот, принявшись от моего глубокого вдоха, задышала школьница, которую ампирная роспись гризайлью на потолке, золоченые люстры, огромные вытянутые окна с полукружиями и лепные венки между ними, подпираемый ионическими колоннами заглубленный помост в торце, деревянные витрины, ковровая дорожка, бидермайерскими дворян-

ско-усадебными розами защищающая Boden, пол и почву от попрапия и презрения после буквально верховенствующей патетики, — все это уже не тешило и умиляло, как меня, но вырывало из прежнего и готовило к неизвестному.

В вестибюле, откуда мы по нескольким ступеням сошли в зал, Кирилл оставил и парадно-вступительную веселость. Свое волнение он опять, как и по дороге сюда, не мог разбазаривать. Кирилл не позабыл обо мне, не остался наедине с образцами (назвать их экспонатами казалось не то чтобы нечестием, но анахронизмом, словно я относила этот специальный термин в его роботоподобной молоджавости ко дню сотворения суши, как будто глубь земной коры была и глубиью времени). Скорее он, наоборот, не отпускал меня и, комментируя то, на что я смотрю, как будто направлял мой взгляд туда, куда его взгляд поспел секундой ранее. Он не смотрел на меня, но как бы подталкивал мое зрение. Не тащил меня за собой, а был сзади и чуть сбоку, благо загородить ему зрелище я не могла, и я, не чувствуя никакого давления, ощущала напряженность его водительства.

Я не спрашивала, хотя это воздержание трудно давалось, есть ли у него любимцы, подозревая свой вопрос в оскорбительности, не для Кирилла, разумеется, а для предмета: ведь выбор как раз уравнивал, разравнивал множество до однородной массы, примысливал ему изначальное безличие, которое произволом, выхватывающим что-то одно, якобы и снималось. Да и Ки-

Жизнь рудокопа

рилла должно было покоробить такое холодно-ленивое замазывание пестроты и дробности, чтобы нанести поверх пару-другую штрихов. Но, когда мы приближались к последним неосмотренным витринам, Кирилл вдруг сам спросил, понравился ли мне какой-нибудь минерал особенно. Кварц, ответила я наобум, не запасшись своим ответом на свой же вопрос. Кварц в чистом виде — или какая-нибудь из его полудрагоценных разновидностей, например розовый кварц, горный хрусталь, аметист или гелиотроп? Пожалуй, чистый кварц или горный хрусталь, как наближайший к нему. Что ж, Кирилл меня понимает, однако у него кварц все-таки на втором месте, а на первом — пирит. Почему? Мы нагнулись к стеклу, и Кирилл сказал с улыбкой, которую я услышала, не увидев, потому что смотрела на высколенные, выточенные из блеска, а потому не блещущие, но железно, изжелта-лоснящиеся кубики словно бы наименее земного, хотя и чуть ли не самого затрапезно-земного питомца коры: если честно, не знаю сам; но теперь знала я: подражанием золоту.

Кирилл рассказывал о разновидностях пород, о процессах генезиса, о том, что минеральные индивиды, как и человеческие, могут объединяться в сообщества — агрегаты, агрегаты же — сгущаться в минеральные тела; какие из них склонны к псевдоморфозе, что цвет кристалла зависит от преобладающего элемента и примесей, а текстура, которую мы воспринимаем как форму, — от примесей и от условий протекания роста. Он общал о редкости или распространенности минерала и

какие свойства его в какой отрасли использует человек, но чаще становился голосом моих глаз: посмотрите, какая красота, какое чудо, какое совершенство. «Красота», «чудо», «совершенство» он произносил, не вознося и не заглубляя тон, без малейшей экзальтации и мечтательной раздумчивости. Вспоминая потом, я поражалась, какую точность в подборе слов способно дать видение. Кирилл ни разу не назвал то, о чем говорил, *прекрасным*, и вообще, как мне припоминалось, обходился без оценочных прилагательных, только этими тремя субстантивами, не признающими степеней и градаций. Кирилл не описывал, а называл, и значило это, что он не смотрит, то есть не любит (потому и внутрь обращенной, одобрительной улыбки любующегося своим достоянием демонстратора я не застала ни разу), а видит.

И я видела, а не любовалась. Ребристые, игольчатые, губчатые, комковатые текстуры, тонущее в собственном искрении зерно на разломе, ровная гладь как она есть для стереометрии – плоть абстракции, шероховатость как она есть для осязающей руки, стремящейся от шершавого к гладкому и от гладкого обратно к шершавому, родному человеческой ткани... Впервые видела *совершенство материи*, совершенство, принадлежащее этому определенному, ограниченному ее сгустку. Чудо в установленных раз и навсегда параметрах и пространственных характеристиках. Каждый кристалл был совершенен. Совершенство каждого было создано специально и только для него. Я видела совершенные в себе вещи, совершенство которых имело пределы, поскольку их имеет любая вещь.

Жизнь рудокопа

Опровергало ли это меня, мог ли Кирилл торжествовать переубеждение? Ни капли. Я видела совершенство и чудо. Но не красоту.

С первого же образца в первой же витрине я начала готовиться к отчету, который потребует с меня Кирилл, когда окончится наше путешествие по царству минералов: ну как, переубедил? И к возвращению мне уже было что развернуть перед ним, чтобы, не выказав безнадежной в косности и слепоте, отстоять себя, чтобы справедливо почтить чужое, не предать своего. В вестибюле, пока гардеробщица несла нам верхнюю одежду, а потом, пока мы одевались, я на изготовке *держала ответ*, держала его, как плывущий держит во рту то, что понадобится на другом берегу, но оно осталось без надобности. Кирилл так ни о чем меня и не спросил, вероятно, считая, что уже стал очевидцем моей перестройки и сдачи. Теперь, наконец, собрав увиденное в себя, он желал остаться с ним наедине и не поинтересовался, а поделился, но как бы через порог, не привечая меня: у него такое чувство, будто двадцать лет все это пребывало без хозяйского глаза.

Вечер только занимался, но мы оба, без слов, дали друг другу понять, что слишком устали для Нескучного сада. Мы вышли на проспект мимо Александрийского дворца, принадлежащего Президиуму Академии наук, и мне вспомнилась та, чьего сына я, казалось мне, ступая с ним бок о бок и не соприкасаясь, подпираю, как сестра милосердия раненого по пути в лазарет.

Я пыталась почувствовать, что, шагая рядом, несет этот человек на закорках в добротном перевязанном тюке усталости. Какими он уносит свои кристаллы и куски пород — благостно-невесомыми или вдвое потяжелевшими, разрешением или осуждением. Я билась, лучше или хуже теперь ему, посетившему свое хозяйство после двадцатилетней отлучки, прощена ли хозяину измена, восстановлен ли мир. И если нет, то какова доля моей вины в том, что через эту трехстороннюю встречу вина одной из сторон лишь усугубилась. И мне казалось, что нас, бьющихся, двое: я и его мать, посредником которой я все-таки становлюсь.

Я хотела сказать Кириллу о земле и о свете: то, что не принадлежит никому, отнимет у тебя только смерть. Но до самой «Октябрьской», где мы простились, я не нарушила его молчания, как не нарушали молчания редкие и вязко-пустые реплики самого Кирилла, которыми он обозначал себя рядом.

Кирилл позвонил в воскресенье. Не исключено, что цикл «встреча — звонок» он закреплял сознательно: я уже разбирала отдельные строчки его природы, в том числе стремление структурировать все, что мало-мальски этому поддается.

Накануне вечером, придя домой, он думал о нас. А сегодня утром, как часто бывает, расступилось то, что загоразивало искомую суть. Он хочет, чтобы я понимала: он всерьез говорил о сестре. Он убежден, что родство по выбору не только допустимо, но это благословил

Жизнь рудокопа

Христос, неоднократно указывая в Евангелиях на возможность родства не по плоти, например, когда пообещал каждому, кто оставит мать, отца и прочих родственников, во сто крат раз больше новых и когда назвал Своими матерью и братьями Своих учеников. И вообще, негативное отношение Христа к кровным узам общеизвестно. Рассчитанная практичная простота этой экзегетики меня удивила, и я сказала, что у креста Христос соединил в семью Свою Мать по плоти и другую «мать», ученика, тем самым примирив кровное и духовное.

Я опознала подошедший момент и не струсилась.

«Вы поссорились с матерью?»

«А мы и не были в мире!»

Ядовитый задор и готовность, словно ответ только и ждал, когда его пустят в ход, отрезали путь любой моей, еще не сложенной реплике, но это был не обратный пас, к которому свелся ответ, а броский заголовок ответа.

...Мать, как он уже говорил, зав. сектором в Институте философии РАН, доктор наук. Занимается проблемой искусственного интеллекта и постгуманизма. Докторская ее, которую она защитила в восьмидесятых, посвящена, впрочем, марксистскому гуманизму. Мать не может примириться с тем, что Кирилл не пошел в науку, что столько лет отдал рок-музыке и при этом не поднялся выше, как она считает, любительства. Что у него нет ученой степени. Нет детей. Что он крестился, наконец, — тому уже двенадцать лет, а это по сей день «незаживающая рана». Как и в целом его жизненный провал по всем перечисленным пунктам.

Я подумала о том, что мои родители не пеняют мне на *мой* провал, и, хотя этой мыслью обличила свое наиотчетливейшее понимание сути провала, спросила, в чем же он.

Например, что Кирилл не завел семьи. Мать сватала ему свою аспирантку, чуть не сломала жизнь этой девушке, впрочем, там заведомо ничего серьезного не получилось бы, Кирилл имел в виду не ее. Он дружил с одной девочкой в геологическом кружке, и спустя много лет они столкнулись на улице. У нее были муж, дочь. В какой-то момент она переехала к Кириллу; муж не давал развода, по крайней мере, так говорила она; Кирилл не возражал, чтобы с ними жила ее дочь, но девочку забрала свекровь, которая, естественно, приняла сторону сына и даже видеться не позволяла — ситуация мучительная для женщины и для того, кому эта женщина небезразлична. Долго так продолжаться не могло, он имеет в виду совместную жизнь, и тем не менее год они прожили вместе, а там ее муж попал в какой-то финансовый переплет, ему даже грозила тюрьма...

И она вернулась к мужу?

Да. Все друг перед другом покаялись. Семья воссоединилась.

Две эти фразы, предуготовленные для сарказма и без него, казалось бы, нежизнеспособные, не содержали в себе ни грана его. Кирилл словно выдернул из них жала или выдавил заранее едкий прогорклый сок. Они были чисты почти до невразумительности, и от печали и вздыхания, и от стоической лицемерной прохлад-

Жизнь рудокопа

цы. В них еще перекатывалась какая-то капля спокойствия, чуть окрашивая самое донышко, но это и было все «личное», не то последнее, не то изначально единственное.

Преломившимся в этой прозрачности лучом попало бы и все «личное» моего вопроса — как давно произошло воссоединение, — но Кирилл уже спешил после интермедии о себе к рассказу о матери.

Сама же мать никогда не была замужем. В тридцать пять, только что защитив кандидатскую, рассудила, что, если хочет ребенка, надо решить этот вопрос прежде, чем сядет за докторскую, когда будет уже не до того, — и заполучила ребенка (я чуть не подсказала: по-немецки *бекоттен*, иначе и не скажешь). Никто ее не поддерживал; если б она, допустим, забеременела от женатого и отказалась делать аборт, это бы еще поняли, но заводить ребенка без мужа целенаправленно казалось безумием — что говорить, годы самые «застойные» во всех отношениях.

И ведь как раз на те же годы в капстранах пришлось становление феминизма.

Ну так мать с юности истая феминистка: она ведь из-под Владимира; в колхозной читальне чудом пережил все разгромы какой-то остаток библиотеки, конфискованной у владельцев ближней, опустошенной, дворянской усадьбы, и мать читала, например, Аристотеля... Она, можно сказать, шагнула из своей семьи и своей среды в никуда. Она словно всю жизнь и оставалась нигде, в каком-то вакууме. Даже ее родители не знали, кто

отец Кирилла. Когда Кирилл лет в десять спросил ее, она пообещала, что в свое время расскажет, и выполнила обещание накануне его совершеннолетия — четко. Кирилл несколько раз в детстве видел этого человека и как будто чувствовал с его стороны какую-то особую симпатию или даже нежность. Он был безнадежно влюблен в мать, хотел жениться на ней, когда та ждала ребенка, но встретил отказ. В семнадцать лет Кирилл возмущался тем, как мать поступила с этим человеком, используя его, да и со своим сыном, лишив его отца, но позже понял ее. Возможно, единственная положительная черта матери — ее неизменная стопроцентная честность с собой и другими.

А стопроцентная честность — черта всегда положительная?

Всегда. Даже и тем более положительная, когда требует быть жестоким. Но того же требует и справедливость. К честности надо иметь призвание, нет, для нее нужны психофизические задатки, как для хирургии. Да, честность — это как хирургия. Однажды становится ясно, что ромашковый отвар не поможет, и тогда ложатся на хирургический стол. Да, честность — это та же хирургия, она спасает, когда уповать больше не на что.

Разве, когда уповать больше не на что, спасает не милосердие, милость, любовь?

Каким бы ходульным паролем для узнавания христианина христианином, в котором мы уже не нуждались, ни было каждое из трех слов, нанизанные одно за другим, они будто не выдержали собственного из-

Жизнь рудокопа

бытка, расплескали розовую жидкость и, как прежде те две фразы Кирилла, опустели, очистились. Это услышала я, и это услышал Кирилл, выдвинув навстречу верности опровержения утяжеленную, оборонительную уверенность взятого тона.

В бóльших масштабах — безусловно, но не в частных жизненных ситуациях, и мать поступила правильно, не выйдя за нелюбимого человека.

То была уверенность самосбывающейся правоты, тон словно заверял правоту поступка, но и сам Кирилл верил своей уверенности, не столько разоружая, сколько умиряя меня, только теперь, как бы снаружи, увидевшую, что секундой назад боролась, и не от имени постулатов, а за себя, а значит, совесть не то что позволяла — приказывала мне сдаться. Да, пожалуй, правоту, стоящую за поступком его матери, не оспоришь. Нет любви выше жертвенной, но Господь же говорит: «Милости хочу, а не жертвы».

Вот-вот — Кирилл словно или впрямь выдохнув, точно я отодвинула его, уже начавшего изнемогать, от штурвала и привела нас в бухту консенсуса; Евангелие вообще полно таких противоречий, и каждое на своем месте.

Эта, уже вторая паролевая банальность убогатворила нас, а для меня к тому же смазанный финал окупался удовольствием своей быстротой на цитаты. Правда, я еще могла ухватиться за то, что Христос цитирует пророка Осию, и источник противоречия в данном случае — разница этик новозаветной и ветхозаветной, но

побоялась отвратить Кирилла вьедливостью «на лестничной клетке».

Однако на той же лестничной клетке стоял и Кирилл, словно мы с ним вышли за порог плотно мебелированной квартиры, только чтобы продолжить в пространстве более гулком.

Если бы эта стопроцентная честность передалась ему хоть вполовину, он сказал бы матери, что не любит ее и никогда и не любил, хотя уважает сейчас, когда они почти не общаются, больше, чем когда-либо.

Может, это как раз и свидетельствует о том, что честность – все-таки не последнее?

Скорее о том, что он пошел в отца.

Шутливостью, которая тем удобна как сигнал отбоя, что не оседает на дно, подобно (само) иронии, а бесстрастно улетучивается, Кирилл подвел черту.

И я не возражала, поскольку лишь за финальной чертой могла сказать со стопроцентной честностью – себе ли, Кириллу – то, что он знал и что Бог весть за чем и Бог весть откуда знала и я: что мать пыталась его полюбить, призвав на помощь всю мощь марксистского гуманизма, и наконец нашла спасение от своего бессилия в постгуманистической доброй ссоре; впрочем, мне ли судить о материнской любви?

Но если сейчас мать вызывает у Кирилла уважение больше, чем когда-либо, не значит ли это, что он согласен с нею считать свою жизнь провальной. И если и впрямь страх приходит от тех пределов, где царит безнадежный минус, то у меня не *похолодало внутри*, а я